Андрей Ветляк

Самое большое, что остаётся человеку, это свобода выбирать между двумя возможностями: 1) оказывать сопротивление истории, создаваемой незначительным меньшинством людей (и в этом случае у него есть свобода выбора между самоубийством и неизбежными репрессиями); 2) вести существование, недостойное человека или же спасаться бегством.

Мирча Элиаде

1.

Лет до тридцати пяти Ветляку ни разу не приходилось задумываться ни о том, что такое родина, ни о природе чувств, которые вызывает в человеке соприкосновение с нею. И то, и другое он считал порождением естественных нейрофизиологических функций: достаточно выйти из дома, подставить лицо пыльноватому ветру, и родина возникнет сама собой, и общение с нею будет простым, как дыхание,

главное — не задавать ей вопросов:

как тебя зовут? что у нас после алгебры? какого года этот альбом? где мы? почему столько боли? —

не задавать никаких вопросов, не сочинять ответов, не усложнять, не мудрить, разучиться понимать слова, которые люди сцепляют в громыхающие составы, —

зимней ночью нет ничего страшнее, чем товарняки, везущие чёрные горы, —

попытаться замереть — и увидеть, что никому ещё не удавалось замереть окончательно: всё колеблется и трепещет; если пошевелить пальцами ног и прислушаться к ощущениям, станет ясно, что даже асфальт всё время вибрирует — словно по проспекту Карла Маркса один за другим едут грузовики, —

травинки вздрагивают, проросшие из-под поребрика, шевелится тент над прилавком с арбузами, отклеившийся угол афиши — подёргивается и тот, неритмично и спазматически;

тем временем ультрафиолет пропитывает тебя насквозь (космос ближе, чем кажется: не там, куда запускают спутники и луноходы, а прямо здесь, вокруг,— океан без дна и без берегов, но со своими багрянками и медузами, с облаками кальмарьих чернил и мясистой водой, и планета в нём — малышка-радиолярия, и город — один из крохотных наростов на её причудливой раковинке, и тёплый воздух — её живая плёночка-цитоплазма),

и какая разница — падать или взлетать, если в невесомости и то, и другое становится плавным парением, одуванчиковым десантом над аэродромом газона,

но всегда остаётся страховочный трос, не дающий уйти в свободное плавание, длинный поводок, на котором тебя держит земля, —

главное — в минуту парения не задавать ей вопросов.

Когда Ветляку было десять или пятнадцать, он не мог бы рассказать об этом состоянии ни на письме, ни устно, но постоянно искал возможности его испытать (а всё, что для этого необходимо, — остаться одному, хоть бы даже и среди толпы, и настроить слух и зрение так, чтобы человеческая суета их почти не затрагивала, — чтобы повседневность превращалась в лёгкие мыльные пузыри, при столкновении с наблюдателем оставляющие на его коже пару прозрачных капелек и не более). В восемнадцать стало не до того; когда же он наконец научился говорить о подобных вещах, выяснилось, что за это время мыльные пузыри раздулись, налились тяжестью, потемнели, — да, собственно, и мыльными-то быть перестали. Теперь навстречу ему летели пузыри нефти, гноя и крови; на бесконечной равнине страны, чью историю Ветляк тоже воспринимал как естественный природный процесс, ходячие мертвецы играли в пейнтбол.

* * *

В восемьдесят шестом году бабушкину комнату оклеили новыми обоями, жёлтыми в тонкую серебристую полоску. С годами они обтрепались, подвыцвели, а в дальнем углу, где когда-то стоял пылесос “Вихрь”, и вовсе отклеились: отошли от стены пластом, вместе с предыдущими обоями, голубыми, и газетной прослойкой. Нужно аккуратно приподнять этот пласт и заглянуть в лаз, который за ним откроется, — неправильной формы пролом, откуда тянет мокрой осенней травой. Затем ссутулиться, сжаться до своих подростковых размеров и шагнуть на полусогнутых, шваркнув макушкой по бетонному краю.

На Воле пасмурно и накрапывает мелкий, едва ощутимый дождь. Ветляк закрывает за собой полусгнившую дверь сарая, в котором очутился, пробравшись сквозь лаз, осматривается и по бурой сорняковой овчине идёт по направлению к зданию из силикатного кирпича, с чёрной трубой и чёрными зарешечёнными окошками. Никаких иных ориентиров на этот раз нет, и пейзаж выглядит на редкость угрюмо.

Приложив некоторое усилие, Ветляк всё же вспоминает, где он видел эту котельную в *нормальном мире*, который логичнее было бы называть Зоной. В одном из бывших военных городков Ленинградской области, состоявшем из пары пятиэтажек, двух десятков убогих частных домов и неизвестного количества времянок, разбросанных вдоль лесной опушки; однажды в конце сентября Ветляк приехал в те края по грибы и, уже на обратном пути, неся к автобусной остановке ведро моховиков, увидел, как из котельной выходит щуплый старичок в замызганной болоньевой куртке и шапке-петушке, красной с белой надписью, какие носили во времена Ветлякова детства. Странной походкой, мальчишеской и птичьей одновременно, старичок подошёл-подскакал к кусту шиповника, яркому среди чёрных угольных куч, и принялся медленно, с вдумчивым наслаждением, срывать и обсасывать, смакуя, оранжево-алые ягоды. Ветляку захотелось плакать, как

бывает всегда, когда Воля и *нормальный мир* сближаются и становятся почти неразделимыми. Стиснув дужку ведра, Ветляк думал, что старичок, кем бы ни он ни был, при жизни сподобился высшего счастья, стал воплощённым духом родной земли, и не скаредным, как германские кобольды, а простодушным, под стать распахнутому настежь окну сентябрьского неба; ещё Ветляк думал “блаженны кроткие” и пытался понять, как сочетать евангельскую фразу с кобольдами, духами и всем тем, что он знал о мироустройстве; наконец, он думал о том, что именно так, пожалуй, и должна будет выглядеть его собственная старость, если он до неё доживёт. Размышления его были прерваны хрюканьем двигателя: к котельной подъехала коричневая покоцанная “Приора”. Не дожидаясь, когда водительская дверь откроется и сказочная картина превратится в гротеск, Ветляк поспешил к шоссе, оставив котельную за спиной. Теперь, семь или восемь лет спустя, эта котельная высится посреди осеннего пустыря, над ней клубятся серо-лиловатые тучи, вдали темнеет зубчатка хвойного леса; меж угольных куч по-прежнему растёт шиповник, — и, кажется, угля стало меньше, а шиповник окреп и разросся в полную силу, — но ягоды на почти облетевших ветвях сморщились и почернели.

Вечный Пёс выходит из-за угла котельной, сдержанно машет хвостом, — он не обязан приветствовать человека, но ему слишком хорошо известно, каков истинный вес ритуала. Ветляк садится на влажный от мороси обломок бетонной сваи, скребёт щёку, чешет сквозь штанину бедро. Вечный Пёс смотрит в его зрачки, и Ветляку кажется, что пёсий взгляд превращается в раздвоенный эндоскоп с лампочками на конце каждого щупальца-зонда. Они обшаривают потёмки.

— Прямо так сразу всё и обрушилось?.. — слышит Ветляк у себя в голове. — Прямо так резко, хоп и всё?.. А до этого было праведно? Было *хорошо*?

Отвечать вслух на эти вопросы нельзя: изо рта вырвется чёрное облачко плесневых спор, материализовавшаяся ложь изречённого слова. Вечный Пёс чихнёт с отвращением и скроется, неторопливой трусцой, за угольными кучами и облетающими кустарниками, в пыльно-дождливой дымке. Но образы потоком проносятся перед внутренним взглядом Ветляка:

бесконечная шеренга пенсионерок в одинаковых тёмно-вишнёвых или тёмно-синих пальто, с одинаковыми выражениями лиц, перед каждой разложены на картонке нехитрые вещи, вынесенные на продажу из дома;

стриженые наголо пацанята, прижимающие к губам полиэтиленовые пакеты с клеем “Момент”,

безногий мужик в камуфляже, на дощечке-каталке с колёсиками выглядящий как чудовищная игрушка;

бухие санитары, выволакивающие из квартиры на простыне, словно строительный мусор, тело мёртвого деда,

свекольно-красная рожа Бирюкова, воняющая колбасой и водярой,

грязь, истоптанная подмерзающая грязь, перемешанная с лузгой от семечек, битым стеклом, смятыми сигаретными пачками, пивными пробками, грязь от порога до горизонта,

но всё же и плакат с космонавтом, и мозаичные панно в ДК, и детгизовские книжки, и солнце, восходившее на каждой монетке, и соломенные отблески настоящего солнца, и рэйвы на пляже, и одинокие поездки в леса, и старичок в красной шапке, и беззаботные

прогулки по вечерним проспектам, с бутылкой пива в руке и Sonic Youth в плеере, — как если бы сначала некий бесшумный медленный взрыв превратил обжитые пространства в руины и грязь, грязь и руины, но в небе над ними ещё было светло, и свет этот очеловечивал и освящал всё, к чему прикасался, а затем стало темнеть, — пернатый ящер пожирал планеты и звёзды, — и из каждой трещины хлынула кровь, смешанная с дерьмом, и с облаков посыпался пепел, смешанный с метамфетамином.

— Понимаю, — безмолвно произносит Вечный Пёс, но никакого сочувствия в его взгляде не появляется. Он сидит неподвижно, похожий на статую, с непроницаемым выражением, и на фоне его космического хладнокровия Ветляк начинает казаться себе совсем убогим, ничтожным: полураздавленное насекомое дрыгает в агонии лапками, из его лопнувшего брюшка лезет наружу микроскопическая кучка цветной пасты, — то ли внутренности, то ли воспоминания, — а мироздание уже заносит тапок, чтобы его добить.

— Ты ведь делал хоть что-то, пока темнело? Ты же не мог *совсем* ничего не делать? — спрашивает Вечный Пёс. Ветляк вскакивает, размашистым движением отряхивает штаны, пытается что-то крикнуть, захлёбывается слишком свежим, слишком влажным, слишком чистым воздухом. Вечный Пёс равнодушно наблюдает, как он почти бегом шагает обратно к сараю, — сердитый и жалкий, словно поссорившийся с девушкой юнец. Мокрый ветер шлёпает Ветляка по губам; тот горбится, втягивает голову в плечи. С начала Событий вылазки на Волю превратились в пытку. Ещё несколько лет назад всё было иначе, и можно было часами, даже сутками, странствовать по прекраснейшим и таинственнейшим местам, в сопровождении Вечного Пса или кого-нибудь из Старших; теперь же вся Воля стала нескончаемым судом, судом инквизиции, где у Ветляка нет ни подготовленной речи, ни адвоката, но если он прекратит там бывать, хотя бы раз в неделю или две, жизнь его станет ещё хуже, ещё ничтожней.

Ветляк выбирается из лаза, приглаживает пласт обоев, пересекает комнату по диагонали, — шесть шагов по изъеденному молью паласу, — и ложится в постель. Бельё пахнет чем-то сладковатым, подгнившим, засохшим, мумифицировавшимся, невыносимым: сразу все запахи прошлого, смешавшись и настоявшись, образовали некий смрад без названия, продукт ферментации времени. Стоило бы отнести эти простыни и пододеяльники в прачечную, а ещё лучше — выбросить вместе с матрасом, зайти в магазин “Всё для дома” и купить новые, но так поступил бы любой, и в последнее время Ветляку совершенно не хочется повторять действия большинства; кроме того, только в этом ужасном запахе он и чувствует что-то похожее на безопасность. Возможно, сейчас это самое лучшее: лежать на затхлом белье, в кровати покойницы, в комнате, чья обстановка не менялась с восемьдесят шестого года, в квартире-“двушке”, в хрущёвке, на улице Парижской Коммуны, на самой окраине микрорайона Речного, — за окном заросший ракитником овраг, на дне которого действительно ползёт еле живая загаженная речонка, за оврагом частный сектор, разруха насколько хватает глаз, пыльные грунтовки, бурьян, трубопроводы, заборы из металлопрофиля, в рытвинах стоит глинистая замазка с потрескавшейся коростой, над горизонтом так же неподвижно стоят тёмные облака, — в городе Июньске, если только ещё можно называть это место городом, — в кровати покойницы, как на дне сундука, как в деревянном саркофаге под курганом с многослойной насыпью.

* * *

Когда-то от этого белья пахло стиральным порошком “Лотос” и компотом из сухофруктов. Ветляк, двухлетний, пил компот из бутылочки, через соску: он уже превосходно умел пить из чашки, но из бутылочки было вкуснее, и особенно — когда бабушка рассказывала сказку; порой, заслушавшись, Ветляк забывал о соске, и компот капелька за капелькой проливался на наволочку, впитывался в подушку. Чаще всего бабушка этого не замечала, а если тёмно-жёлтый свет сорокаваттной лампочки позволял ей различить мокрое пятно, она не ругалась, ограничивалась одним укоризненным “Андрюшка-Андрюшка” и продолжала, как ни в чём не бывало, про кота-бурмистра или про лисичку со скалочкой. Бывало так, что после сказки Ветляк не засыпал, а начинал беситься, бодаться, тыкаться лбом бабушке в бок, пинать ногами ковёр, висевший над кроватью, смеяться заливисто, — но и на это бабушка не ругалась, гладила его волосёнки, целовала, называла словечками, взятыми из того же амбара, где хранились сказки, — “соколик”, “пострелёнок”, — и от этих словечек Ветляк успокаивался наконец и проваливался в сон, а наутро просыпался уже в своей кроватке, в комнате чуть побольше, которую называли залом. С кухни тянуло вкусным табачным дымом: дед курил папиросу, стряхивал пепел в латунную черепашку.

Дед умер, когда Ветляк был подростком, и его запаха в квартире почти не осталось. За те пятнадцать лет, что бабушка провела в этих стенах вдовой, она, должно быть, абсорбировала ауру покойного мужа и метаболизировала её, — так растения поглощают вещества, на которые распадаются их отмершие сородичи. В первый день Ветляку было странно и немного неловко находиться в пространстве, где не было ничего мужского, — дедовы вещи наверняка лежали в кладовке или на антресолях, но не излучали никакой энергии. В чём именно выражалось господство женского начала, столь остро ощущавшееся в квартире, Ветляк не смог бы сказать. Он и сам любил тёплые интерьеры с подушками и накидками, увешивал стены африканскими масками и расставлял по подоконникам резных деревянных будд, но любое, даже самое уютное, мужское жилище всегда немного смахивает на мастерскую, и любое, даже самое неухоженное, женское — на покои принцессы, и, переступив порог бабушкиной квартиры, Ветляк почувствовал себя пажом, прокравшимся в будуар тайком от его царственной хозяйки. На второй день он разобрал спортивную сумку со своими вещами, сбегал в магазин, водрузил на кухонный стол банку растворимого кофе и бутылку джина, приспособил под пепельницу банку из-под оливок, и эффект будуара ослаб; на третью ночь ему явилась во сне бабушка, не сердитая и не печальная, что было хорошо, но почему-то в одной ночнушке, белой в голубой цветочек, — и это, наверное, было плохо. Бабушка сидела на деревянном некрашеном табурете за некрашеным деревянным столом, перед ней стояла на блюдце наполовину пустая чайная чашка, а на краю блюдца лежал пряник, — не коричневый, а золотисто-белый, мятный. Бабушка сказала: “Ну вот и проводили тебя, Андрюша, в *армею*”, и Ветляк нисколько не удивился — всех рано или поздно провожают в армию, что ж тут такого, — но ему очень хотелось попросить у бабушки мятный пряник, а он стеснялся, смотрел на серебряно-лиловые бабушкины волосы, на артритические пальцы, перемешивающие остатки чая алюминиевой ложечкой, и проснулся с комком этого

стеснения в сердце. На шестую ночь он нашёл лаз на Волю за пластом отклеившихся обоев. Уже две с половиной недели прошло, оказывается, с того дня, когда он — на попутных фурах, чтобы не светить паспорт в железнодорожных кассах, — приехал в Июньск.

Ветляк лежит в темноте, пропитываясь удушливым запахом бабушкиной постели. За окном непроглядно, но можно почувствовать, как из последних сил карабакается по кучам мусора и гниющим корягам мутная водица в овраге; из квартиры сверху не доносится ни звука, — видимо, Обглодок не нашёл себе собутыльника, — но в квартире сбоку, за стеной, бубнит телевизор; Ветляк засыпает, безотчётно прислушиваясь к его бормотанию, отчаянно убеждая себя, что на дворе восемьдесят шестой.

2.

Дедов велосипед, как Ветляк и подозревал, оказался в кладовке, — разумеется, в разобранном виде. Пришлось потратить пару часов, чтобы извлечь его, освободить от завалов и залежей, в совокупности называвшихся “хламом”, но, будучи разложенными на элементы, являвших довольно внятную картину истории. Вынимая из запаутиневших потёмок пустые банки, кипы журналов “Смена” и “Новый мир”, жестянки с гвоздями, болтами и гайками, старые термосы и невесть какой ещё скарб, Ветляк боролся с желанием подарить каждой из этих вещей новую жизнь, использовать их наконец по назначению, — раздать все банки хозяйкам, перечитать все журналы, забить все гвозди, заполнить оба термоса чаем, чтобы они не томились больше в лимбе кладовки, в её вертикальном гробу. План этот выглядел благородно, но был слишком наполеоновским, реализация его требовала немалых усилий, и Ветляк ограничился тем, что отнёс на кухню фотоаппарат “ФЭД” в кожаном футляре и целлофановый пакет с пластмассовыми солдатиками, у каждого из которых в своё время были звание и биография. Остальные вещи он наскоро затолкал обратно в их фамильный склеп и, застелив бабушкин палас газетами ельцинских времён, приступил к сборке велосипеда. Покрышки и камеры безнадёжно пересохли, и после обеда Ветляк съездил на маршрутке в торговый центр, стараясь побольше смотреть в окно и не замечать листовок “Родина ждёт” и “Работа для настоящих мужчин”, приклеенных скотчем к спинкам сидений. К вечеру велосипед был на ходу; Ветляк с удовлетворением осмотрел творение рук своих, отметил, что советский велопром слабо уступал французскому и итальянскому, а затем, немного поразмыслив, взял катушку чёрной изоленты и аккуратно залепил облупившуюся надпись “Украина” на раме.

По латаному-перелатаному вспученному асфальту, по проспекту Карла Маркса, Ветляк катит на восток. Его ноздри жадно вбирают воздух, тяжёлый от выхлопных газов, городских испарений и неизвестных, но знакомо и даже по-домашнему пахнущих веществ, выбрасываемых в атмосферу трубами химзавода. Воздух этот нездоров, а в чрезмерных количествах и вовсе тлетворен, но всё же Ветляк подспудно тосковал по нему, пока жил в Питере, — как по напитку “Инвайт” с синтетическим красителем, как по разнузданно-

вульгарной рекламе девяносто пятого или девяносто шестого. Распространённое мнение, что в реальности люди тоскуют по детству и юности, по молодым и беззаботным самим себе, а не по материальным приметам эпох, Ветляка никогда не убеждало: по крайней мере, он точно знал, что в его случае это было не так. Тосковал он именно по вкусам и запахам, краскам и формам, по физическому субстрату, чьи микроэлементы — хоть бы и токсичные — когда-то его питали. Воздух в Июньске пахнет по-старому, состоит из прежней смеси промышленных ядов и природных бальзамов: палой листвы, чернобыльника и тысячелистника, влажной глинистой почвы. С каждым вдохом Ветляк чувствует, как расправляются его жилы и нервы, начавшие было чахнуть на промозглых невских ветрах; грубая и нежная свойскость ландшафта страхует и подталкивает его, как делал дед, когда учил его кататься на двухолёсном велосипеде.

Он проезжает мимо бывшего кинотеатра “Салют”, где разместились торговые ряды, — “Молоко”, “Фермерское мясо”, “Белорусские продукты”, “Алтайский мёд”, — мимо бывшей городской библиотеки, где разместились салон связи, салон красоты и ещё какие-то ИП и ООО, мимо бывшей музыкальной школы, бывшего магазина “Радиотехника”, бывшего парка “Химик”, на месте которого красуется новый ЖК в форме бублика или шайбы; мимо церкви с непропорциональными куполами, монгольскими шлемами из алюминиевой фольги; мимо гигантской полупустой автостоянки и долгой череды автомоек, автосервисов, автомастерских, автомагазинов и других грязных, воняющих соляркой и резиной построек и строеньиц, чьи названия начинаются на “авто” и заканчиваются в масле, ржавчине и истерических визгах шлифмашин. Ни одного из этих сооружений Ветляк не помнит, не опознаёт, но каждое из них кажется ему тысячу раз виденным, — как заставка к длиннющему сериалу, в чей сюжет он никогда не пробовал вникнуть, — и это чувство одновременно печалит и умиротворяет его. Наконец, царство автообслуживания заканчивается, и, миновав стройбазу и магазин “Светофор”, Ветляк сворачивает на перпендикулярную, Краснознамённую, улицу. Теперь слева от него тянется бесконечный, увенчанный несколькими рядами колючей проволоки, серый забор химзавода, а справа, за не менее неприступным ограждением из непролазного бурьяна, кустарников, бетонных обломков и груд кирпича, — тоже заводские корпуса, но заброшенные, мёртвые, тупо пялящиеся в низкие облака чернотами своих окон.

Этот старый химзавод, основанный ещё перед Первой Мировой и уступивший место новому в середине восьмидесятых, воспитал не одну смену городских пацанов и, как истинная alma mater, преподавал свои уроки так, чтобы они определили всю дальнейшую жизнь выпускников. Гулкие цеха с постепенно рушащимися перекрытиями, металлические конструкции неясного назначения, резервуары разнообразных форм, трубы с огромными вентилями, бездонные шахты, переходы, ведущие из пустоты в пустоту, переброшенные высоко в синем воздухе над языками ржавой травы, — всё здесь функционировало по принципам неевклидовой геометрии, всё приучало к иррациональности пространства и множественности миров. Будучи уже взрослым, Ветляк начал сравнивать заброшенный химзавод с “Тюрьмами” Пиранези и лабиринтом Минотавра, но десятилетнему Ветляку теоретическая база была ни к чему: важнее была практика, которой он и занимался при каждом удобном случае. Странствия по распадающимся корпусам и прилегающим территориям превратились в его излюбленный досуг, а пацаны, в чьей компании он совершал свои вылазки, — в первую и, быть может, единственную стаю, где он был

равным среди равных и ощущал причастность к общему делу. В школе и во дворе Ветляк всегда был без пяти минут изгоем, не способным постичь варварские и хитроумные законы социализации: дрался он плохо, разборками и полукриминальными затеями сверстников не интересовался, а если пробовал осмыслить их суть, оставался в растерянности, как при просмотре взрослого фильма с запутанным и полным интриг сюжетом. Но мрачный и захватывающий миф химзавода влиял на него как волшебное зелье: стоило Ветляку оказаться в радиусе его излучения, как в нём просыпались ловкость и сообразительность, обезьянья цепкость рук и кошачья острота взгляда. Кроме того, на развалинах химзавода все иерархические распри между пацанами утрачивали смысл. Здесь вступали в силу иные правила и существовали внешние враги, перед чьим лицом следовало действовать сплочённо. К врагам относились выпивоха-сторож, ушлые старшаки, промышлявшие сбором металлолома, героинщики, устроившие притон в одном из цехов, некие “бандюки", которых никто никогда не видел, но которые, по общему мнению мальчишек, закопали на территории химзавода не один труп, и мутанты, скрывавшиеся в самых труднодоступных местах, рыскавшие по трубам и ворочавшиеся в глубине шахт.

Легенды о мутантах имели под собой определённую почву. Хоть на картах завод и был обозначен как бытхимкомбинат, всем было известно, что в действительности он производил боевые отравляющие вещества, многие тонны иприта, фосгена и люизита; известно было и то, что смертность среди рабочих превышала все мыслимые показатели. Что такое люизит и фосген, Ветляк понимал весьма смутно, но концентрацию смерти в цехах ощущал вполне явственно. Иногда он видел эту смерть в ночных кошмарах: после очередного долгого летнего дня, проведённого на развалинах, забывшись беспокойным подростковым сном, он вновь оказывался в лабиринте цехов, в компании своих пацанов или в полном одиночестве. Внезапно и стремительно начинало темнеть, но тьма сгущалась не за лишёнными стёкол огромными окнами, а в бетонной толще перекрытий и стен, постепенно отделяясь от них, формируя чёрную комковатую массу и заполняя собой всё пространство. Густая, как смола, и тусклая, как сажа, эта масса была антиподом всякого образа и всякого смысла, но всё же Ветляк ощущал в ней чьё-то присутствие: то были тысячи или, быть может, десятки тысяч мёртвых людей, обугленных, превращённых в ошмётки, испепелённых бомбами; там были тени жителей Хиросимы, о которых Ветляк узнал из сборника стихов Матусовского, и тени узников Треблинки из книги Гроссмана, которую ему запрещали читать как "слишком страшную" и которую он всё-таки прочитал; они надвигались на Ветляка стеной чёрной лавы, медленной пирокластической волной, и Ветляк просыпался в ужасе, отчаянно моргая, хватаясь взглядом за светящиеся цифры электронных часов и красный огонёк на корпусе телевизора.

Сейчас Ветляка больше пугает новый химзавод, огороженный бетонным забором, но думать о том, что на нём производят и как это используется, было бы столь же гибельно, как вернуться наяву в те безысходные сны. Он вертит педали, смотрит прямо перед собой и старается вызывать в памяти наиболее светлые из воспоминаний, хотя и они не лишены печальных фа-диезов и тревожных вибрато пустот. Ему вспоминается, как однажды он нашёл в куче противогазов резинового зайца с наивными нарисованными глазами, и как Антоха Анисимов на ходу сочинил достойную фильма ужасов историю о детях, на которых якобы ставили эксперименты в этом цеху. Вспоминается, как кто-то принёс с собой горсть анаши, и на несколько часов страх перед мутантами и бандюками стал коллективным

психозом. Вспоминается, как Ирка Черкасова, — одна из немногих девчонок, регулярно участвовавших в экспедициях на развалины, — украла у матери пособие по сексу и прочитала мальчишкам настоящую лекцию, рисуя мелом мужские и женские письки на фанерном листе, но умудряясь держаться так, словно все эти вещи её не касались и она была марсианкой, прилетевшей, чтобы просветить тупоумных землян. Вспоминается, как они задумали напугать сторожа, напялили противогазы и непомерно просторные химзащитные комбинезоны, в изобилии валявшиеся в цехах, намотали сверху обрывков брезента, принялись махать руками и улюлюкать — и испугались сами себя до такой степени, что немедленно сбросили свои импровизированные костюмы и сделали вид, будто сжалились над старым пьяницей (“да ну нафиг, а вдруг он со страху помрёт”). Пока Ветляк вспоминает, руины понемногу сходят на нет, местность становится всё пустыннее, всё меньше вокруг бетонного крошева, арматуры и металлоконструкций, всё больше бурьяна и низкорослых деревьев; наконец, Ветляк сворачивает на грунтовку и выезжает на берег Жёлтой реки.

* * *

На самом деле Жёлтая река носит совершенно другое название, гораздо более индивидуальное и выразительное с точки зрения гидронимики и этнографии, но для внутренней мифологии Ветляка оно не имеет значения. В его сознании река всегда была Жёлтой рекой, — и потому, что воды её действительно желты, как жидкий хлор и бледный суглинок, и потому, что от этих слов пахнет бескрайними далями, кочевьями диких племён, конским потом и войлоком юрт. В реальности неширокая и недлинная, с этим названием река начинает казаться могучей, как Хуанхэ, и не менее потусторонней. На её берегах простираются лунные пейзажи, в её глубине покоятся останки исчезнувших цивилизаций. Ветляк бросает велосипед в траву, спускается к самой воде, топчется по замусоренному размыву. Обрывки лески и осколки бутылок выглядят здесь археологическим материалом; ни один учёный ещё не сумел определить, сколько тысячелетий миновало с тех пор, когда мужичонка в спортивных штанах забросил удочку в мутную заводь. Какой письменностью он пользовался? На каком языке говорил?

Противоположный берег, безлесый и плоский, смыкается с серым навесом небес. Берег, на котором стоит Ветляк, порос замухрышками-ивами. Их ветви немощны и безвольны, их силуэты болезненны, и даже воздух над ними кажется квёлым и хворым. Пока работал старый завод, этот участок берега служил химполигоном, где утилизировали бракованные снаряды: иногда их сжигали, иногда захоранивали, но чаще всего просто сливали иприт в наспех выкопанные ямы. Невзирая на это, Ветляк никогда не чувствовал здесь присутствия чёрной стихии, являвшейся ему в подростковых снах. От страдальческих почв и чахлых деревьев веет не смертью, но близостью Воли, — такие места Ветляк называет Воротами, — и достаточно на пару шагов углубиться в гущу бурьяна, чтобы пересечь незримый рубеж. Во время одиноких прогулок по этим ипритовым пустошам-пустырям Ветляк и научился выходить на Волю; в ту пору ему едва исполнилось пятнадцать. Потом, на протяжении доброго десятка лет, он считал себя неисправимым фантазёром или душевнобольным, — пока не появился Виктор, за четверть часа объяснивший ему, что Воля — не параллельный мир, не бред и не галлюцинация, а всего лишь один из слоёв

многоликой материи: более сохранный, чем тот, в котором мы взаимодействуем с другими людьми, и почти не загрязнённый информационным шлаком нашей обыденности. Ветляк мог бы выскользнуть туда и сейчас, но он устал от допросов Вечного Пса. Лучше постоять на пороге, под невидимым сводом Ворот, откуда видно оба слоя одновременно.

Ветляк смотрит в жёлтую воду, плывущую мимо него по меандру своего равнинного русла, несущую минеральную взвесь, разложившуюся органику, бытовые нечистоты и индустриальную грязь. Когда в девяносто пятом или девяносто шестом демонтировали гипсовые статуи, украшавшие парк "Химик", их свалили на берегу Жёлтой реки, чуть выше по течению; часть обломков сползла в реку во время паводков и дождей и, наверное, до сих пор лежит на её илистом дне. Ветляк видит застывшие лица героинь труда в их суровых и скромных косынках, отколотые мускулистые руки рабочих, вихрастую голову паренька-пионера, — если только в парке "Химик" была статуя пионера, если подсознание не домыслило её по аналогии со множеством других советских парков, виденных Ветляком в жизни и в кинофильмах.

Водная толща придаёт изваяниям облик печальных фантомов; впрочем, может быть, это и не вода вовсе, а желтушный смог, окутавший вымирающий город, или песчаная буря, завесившая своей истрёпанной марлей древнеегипетские руины. Мощные пальцы рабочего еле заметно шевелятся, силятся передать последний сигнал на поверхность, и серьёзные губы героини труда пытаются разомкнуться в запоздалом напутствии. Ветляк делает шаг вперёд, и его тело, цельнолитое и шероховатое, погружается в мутное марево — стоймя, солдатиком, перочинным ножиком, выпущенным из мальчишеской руки в начерченную на земле мишень. Немигающими гипсовыми глазами он смотрит на скользящую вверх жёлтую стену воды, — словно в лифте без двери, едущем на нижний этаж, — и его череп умиротворённо гудит под нарастающим давлением влажного гнёта. Ему печально и сладостно приветствовать вечный покой, — так уезжают, он думает, навсегда: на платформе звучит взволнованный марш, славянка всё прощается и никак не может проститься, а поезд уже зарывается носом в пыль великих степей, и пассажир улыбается, размышляя о том, как бойкий суслик будет свистеть у него на могиле.

Но когда гипсовые ступни Ветляка погружаются в ил, скорбное блаженство внезапно сменяется паникой. Он осознаёт, что в скафандр из гипса заключена чувствительная мягкая плоть, пронизанная нервами и капиллярами, и у этой плоти больше нет кислорода. Разрывающееся от ужаса сердце бешено пляшет, колошматится в рёбра, точь-в-точь обезумевший шмель, бессильно таранящий оконные стёкла; отчаянно шаря по дну гипсовым взглядом, Ветляк видит, что фигуры, окружённые клубящейся полутьмой, никогда не были статуями: это трупы в гипсовой скорлупе, душераздирающие в своей обезличенной личностности, как помпейские слепки. Он снова и снова пробует согнуть тяжеленные ноги, изо всех сил напрягает мышцы плеч и спины; наконец, он чувствует струйку холодной воды, стекающую по его живой человеческой коже, вдоль грудины к пупку. Панцирь дал трещину. Ломая кончики гипсовых пальцев о гипсовый торс, Ветляк пытается расколоть неподдающуюся коросту, содрать с себя проклятый скульптурный экзоскелет; в его отключающемся мозгу проносится мысль о том, что если бы он был сильнее и чище, то сумел бы освободиться от формы, которую придало ему время, и тогда, вероятно, ему удалось бы вынырнуть на поверхность.

Он теряет сознание, не успев понять, в чём именно должны заключаться сила и чистота.

Оранжево-белый поплавок, колеблемый мелкой рябью, тоскливо тычется в кучу размокшего сора: бурых листьев, гниющих соломинок и щепы. Ветляк моргает, стряхивая с ресниц остатки видения, закуривает сигарету, поддаёт поплавок мыском кроссовки, чтобы помочь ему отдалиться от берега, — и почти сразу же садится на корточки, вылавливает его и бережно кладёт на траву. Почему он решил, что поплавку было бы лучше уплыть?.. Кто сказал, что все обязаны выполнять некую функцию, запрограммированную заранее?.. Пусть лежит и сохнет на надёжной земле; быть может, найдётся сорока, которой он приглянётся. Вставая, Ветляк замечает, что его кожаная куртка успела покрыться белёсой пылью; это зрелище напоминает ему гипсовый панцирь, и его передёргивает. Он идёт к велосипеду, перекидывает ногу через раму, — уже не с той лёгкостью, что двадцать пять лет назад, — и по грунтовке выезжает на улицу Краснознамённую, чтобы двинуться обратно домой.

* * *

Под негромкий цокот ночного дождя по заржавелому карнизу, в тусклом свете кухонной лампы, Ветляк расставляет на клеёнчатой скатерти своих солдатиков, — пластмассовых, зелёных, красных и синих, матросов и пограничников, кавалеристов и пехотинцев. Многие из них хранят следы его молочных зубов (грызть их было даже приятнее, чем колпачок авторучки) и пластилина, из которого Ветляк делал укрепления и пушечные ядра. Их фигуры напоминают иллюстрации к поэмам Маяковского, и это сходство обескураживает его: многие годы он считал, что солдатики прививали мальчишкам конформизм и смирение перед беспощадными государственными станками, теперь же он видит в них явное бунтарство, революционный авангардизм; стоящие в полный рост среди ветляковских немытых кружек и сигаретных пачек, они готовы запеть “Марсельезу”, и от этого Ветляку делается не по себе.

Днём, возвращаясь с берега Жёлтой реки, Ветляк столкнулся с Обглодком. Тот сидел на лавочке у подъезда в компании каких-то ханыг, в военной форме, расстёгнутой на груди, с одноразовым стаканчиком в левой руке и выставив на всеобщее обозрение грубо обкромсанную культю правой.

— А там же, блядь, хохол прёт, — повествовал Обглодок своим визави, — блядь, сука, я, сука, им говорю, я обратно хочу, сука, там, блядь, пацаны наши…

Придерживая велосипед за руль, Ветляк приветственно поднял руку, чтобы, чего доброго, не спровоцировать в Обглодке пароксизм слепого бешенства, и уже приготовился открыть дверь подъезда, когда эпическое сказание прервалось на полуслове и с лавочки раздалось:

— Ну чё, Андрюх, бахнешь с нами водочки?

— Не могу, братуха, у меня ж гепатит, — произнёс Ветляк настолько расстроенно и проникновенно, насколько позволяли его актёрские способности.

— Да и хуй на него, — закряхтел Обглодок с неожиданно-пенсионерскими интонациями. — У меня вон, блядь, три контузии, минно-взрывное ранение, смотри, блядь, руки нахуй нет, протеза жду, мотаюсь, блядь, по больницам, ложу им все документы на стол, говорю, вот вам, суки, а им, блядь, похуй… Сидит там эта сука, блядь, я говорю ей…

И больше часа Ветляк смотрел на перекошенную, обезображенную ожогами морду Обглодка, слушал полубессвязный поток, состоящий из кряканья, бульканья, скрежета и матюгов, из которого следовало, что Обглодок крайне недоволен государственной системой, не совсем понимает, за кого и за что воевал, но всё же в известной степени скучает по фронту и гордится тем, что там побывал; больше часа Ветляк кивал сочувственно, отказывался от водки, напоминая о своём несуществующем гепатите, всему поддакивал, со всем соглашался, обильно используя обращения “брат”, “братан” и “братуха”, пытался представить Обглодка ребёнком или хотя бы подростком, играющим на развалинах химзавода, представлял, содрогался, снова поддакивал, и смог улизнуть только тогда, когда бесцветные опухшие глазки Обглодка окончательно заволокло пеленой.

Ветляк рассматривает солдатиков и чувствует необъяснимую зависть к ним, пластмассовым и невесомым. Он вспоминает своё спонтанное видение на берегу Жёлтой реки и думает, что ни один из них не пошёл бы на дно: эпоха не заковала их в гипс, не придала им форму памятников-истуканов, но выдала им лёгонькие, почти двумерные тела, благословила их вечным героическим юношеством.

Несколько дней назад подобную зависть, ревность, даже ненависть Ветляк испытал к Виктору: тот сидит в своей чистенькой самодовольной Германии, хлещет пиво, жрёт вонючий братвюрст и свиную рульку, трындит на немецком, спамит в инстаграме видами мультяшных фахверковых домиков, ходит на концерты Helrunar и Nargaroth, растопыривает пальцы козой, как тинейджер, а поутру садится за буржуйский макбук и получает немецкое бабло на немецкую карточку; ему не нужно слушать звуки, что издаёт пьяный в сопли Обглодок, — звуки, которые могут издавать только взбесившиеся демоны, живущие на скотобойне, — ему не нужно прятаться от военкомата, бояться ментов, бояться вояк, бояться доносчиков, выходить в интернет через VPN, смотреть сквозь голые ветки ракит на загаженную канаву, которая могла быть речкой, ему больше не нужно любить хрущёвские пятиэтажки, щемяще-пустынные детские площадки с вкопанными в серую землю автопокрышками, руины химзавода, тысячелистник и чернобыльник; он *устроился*, пригрелся на пышной груди фрау Дойчлянд. Секунду спустя Ветляк почувствовал характерный прилив жара к ушам: ему стало стыдно. Разумеется, все эти мысли были ересью, клеветой. Виктор до последнего не хотел уезжать и держался, как мог, всеми сучьями и колючками своего характера, за Питер, за Васильевский остров и реку Смоленку, за бревенчатый домик в Ковашах, доставшийся ему по наследству от прадеда, и другие вещи, возведённые им в ранг священных; и когда он сгрёб в переноски

своих сиамских котов, бросил в багажник два чемодана и поехал через метель к белорусской и польской границам, его мысли были заняты вовсе не пивом и рулькой, не концертами и не тем, что называют комфортом. В конце концов, Виктор был единственным известным Ветляку человеком, умевшим выходить на Волю, и, в конце концов, именно Виктор показал Ветляку дорогу во Мшаные земли. Ветляк сгорал от стыда, но стыд не гасил его зависти, а лишь усиливал её.

Теперь Ветляк мучительно завидует солдатикам, навечно застывшим в решительных позах. Их лица проработаны грубо, едва намечены, — только у ковбоя и у пирата есть лица в строгом смысле этого слова, — но, как ни странно, *безликими* они не выглядят. Обобщённые, как древние идолы, они могут обрести любое лицо. Кавалеристу в папахе подошло бы лицо Ветлякова деда, заряжающему орудие артиллеристу — лицо Виктора; матрос в расстёгнутом бушлате, с наганом в руке, чем-то напоминает инструктора по вождению, с которым Ветляк нарезал круги по питерским спальным районам; кажется, после начала Событий он уехал в Армению. В пограничнике с биноклем мерещится образ хозяина лодочной станции, — не то Ефима Георгиевича, не то Ефрема Григорьевича, — давным-давно, в прошлой жизни, учившего Ветляка ходить на вёслах по бухтам Финского залива, но безуспешно: Ветляк панически боялся качки и глубины. Сосредоточившись, можно подобрать лица и всем остальным, но есть и другой вариант: позволить ассоциациям течь свободно и плавно, и тогда окажется, что солдатики вовсе не обязаны оставаться советскими. В них можно увидеть испанских антифашистов, итальянских и греческих партизан, кубинских революционеров, кого угодно, и только здесь, в России две тысячи двадцать шестого, нет места их подвигу, и только своё собственное лицо Ветляк не может примерить ни на одного из них.

Низменная, крысиная злоба поднимается в Ветляке, как коричневая вода в забившейся раковине. Исказившимся зрением он начинает выискивать в солдатиках изъяны, уродства, признаки моральной низости и деградации. Этот тонконогий, должно быть, заседал в тройке и подписывал смертные приговоры; этот, на кособокой лошади, рубил саблей младенцев; этот, в бескозырке, с квадратным подбородком, громил усадьбу какого-нибудь писателя, мочился в камин, вытирал задницу французской гравюрой; от них несёт чесноком, бухлом и блевотой, они ничем не отличаются от Обглодка, от его ханыг, от Бирюкова, от того маньяка, что дважды садился в тюрьму за убийство, дважды уходил на фронт и ведёт теперь “Разговоры о важном” в средней школе номер сто двадцать пять на улице Антонова-Овсеенко. Нашарив в кармане зажигалку, Ветляк подносит огонёк к руке красного пластмассового пехотинца и, скривившись от едкого дыма, плавит её, превращает в бесформенную почерневшую культю: теперь сходство с Обглодком становится полным. На плоском личике попеременно и разом проступают все черты, вызывающие у Ветляка тошноту, — все свёрнутые набок носы, беззубые рты, прищуренные хитрые зенки, нависшие брови, по-дебильному оттопыренные уши, самоуверенные ухмылки всех Обглодков, всей орочьей братии, всей зомби-орды, в чьи ряды государство Российское попыталось записать и его, Ветляка, когда прислало ему повестку и принялось названивать в дверь его ипотечной квартиры в Гатчине. Уже чувствуя, как новая волна стыда захлёстывает его с головой, и остервенело сопротивляясь ей, Ветляк хватает со стола целлофановый пакет с изображением пачки “Мальборо” и горстями швыряет туда бойцов своей мальчишеской армии; только зелёный

пограничник с собакой остаётся лежать между бутылкой джина и пепельницей: бросить собаку в кучу пластмассовых трупов у Ветляка не поднялась бы рука. В одних трусах и тапочках он выходит на лестничную площадку, осознаёт, что в хрущёвке отродясь не было мусоропровода, сбегает по лестнице вниз, хлопает дверью подъезда, пересекает слякотный, раскисший под дождём, уголок засаженного осинами сквера и кидает пакет в квадратный зев мусорного контейнера, похожий на окна цехов мёртвого химзавода. Чернота поглощает его, издав отрывистое шелестящее чавканье: что-то не менее страшное, чем комковатая тьма из снов Ветляка, отправляет солдатиков в брюхо небытия.

3.

Однообразные хмурые утра начинаются с затхлого запаха наволочек, синеватого полумрака, растекающегося из углов, и рассеянного просмотра новостей на экране смартфона. Скорее всего, в телеграме и ватсапе полно непрочитанных сообщений, но восстанавливать к ним доступ не стоит. Пусть аккаунты покрываются паутиной, как советские журналы в склепе кладовки, пусть заказчики и коллеги отправляют послания в никуда, а товарищи из военкомата утрутся своими портянками. Лучше пользоваться сим-картой, купленной за две тыщи рублей у таксиста-таджика и зарегистрированной на него же, расплачиваться наличкой, общаться только с продавцами и призраками, превращаться мало-помалу в окуклившуюся личинку, претерпевающую неведомые метаморфозы в слоёном коконе из покойницкого белья, хлипких стен и отравленного провинциального воздуха. Пусть новости кажутся сигналами пришельцев из далёкой галактики: "российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, один из ударов разрушил пятиэтажный жилой дом", "2-й Западный окружной военный суд Москвы признал тридцатисемилетнего слесаря виновным в финансировании терроризма из-за денежных переводов ВСУ", "в Праге прошёл концерт группы "Стопкран", собранные средства будут перечислены на нужды украинских беженцев". Самое главное — не допускать, чтобы этот кокон прорвался под натиском внешнего мира: там бушует история, чья стихия велика и гибельна для Ветляка, как для резиновой лодки — штормовой океан. Но пока кокон цел, в нём можно даже согреться. Когда закончатся деньги, можно будет устроиться сторожем на какие-нибудь руины и не обращать внимания на играющих там пацанов.

Ветляк думает, что хорошо было бы найти одинокую женщину с округлыми формами и нехитрыми представлениями о мироздании, пить с нею коньяк по вечерам и дарить ей букеты из георгинов. За последние недели его либидо побледнело и ссохлось, как растение, которое школьник сорвал для гербария и засунул в альбом, но по утрам, разглядывая узоры на старом ковре и серебристый рисунок бабушкиных обоев, Ветляк погружается в странные, дремотные фантазии, где господствуют образы кассирш из “Пятёрочки”, немолодых медсестёр из захудалых медцентров, продавщиц из дешёвых пекарен. Он парится с кем-то из них в деревенской бане, занимается любовью на дачном топчане, у догорающей печки-буржуйки, и любовь эта гипнотично-медлительна, как осенняя морось. Выныривая из наваждения, Ветляк понимает, что фантазировал он совсем не о женщинах, а о мирной жизни, о спокойной эпохе: это с нею он хотел бы дышать ароматом берёзовых веников, её бёдра хотел бы покрывать поцелуями, в её лоне

оставлять своё семя и, в конечном итоге, прожить с нею долгий век, полный надёжных вещей и предсказуемых радостей вроде новогоднего оливье и августовских персиков. Но вместо неё явилась совсем иная эпоха, алчная и нахальная, с хищно накрашенными губами, смарт-часами и личным водителем, убеждённая в собственном превосходстве, питающаяся чужим унижением; под её взглядом Ветляк чувствует себя даже не мальчишкой, а кастратом из церковного хора, и токи жизненной энергии в нём становятся хилыми, как пульс гипотоника. Любить её невозможно, эту эпоху с силиконовой грудью под мундиром оберштурмфюрера СС, а того, кто пожелает ею овладеть, неизбежно постигнет участь Обглодка. Впрочем, таких желающих оказалось немало.

Ветляк невольно вспоминает одну из заказчиц, вошедшую в студию строевым шагом на десятисантиметровых каблуках; после взаимных приветствий и недолгого разговора о реализации проекта она принялась рассуждать о политике и заявила, что ядерная война её не пугает, поскольку “богу не нужна эта планета, если на ней не будет России". Ветляк замер, а затем молча кивнул; по дороге домой он чувствовал во рту гнусный привкус и почти физически ощущал, что спина его выгнулась в подобострастном поклоне шакала Табаки и застыла в этом положении навсегда. Виктор отреагировал бы не так: он взглянул бы патриотичной особе в обведённые тушью глаза и произнёс бы с усмешкой что-нибудь вроде "немцы в сорок втором тоже считали себя богоизбранными". Десятисантиметровые каблуки, припаркованный под окнами гелик, муж-силовик и связи в министерствах никакого впечатления на Виктора не произвели бы. На Виктора никогда не производила впечатления власть.

Ветляк встаёт с покойницкого ложа, идёт в крохотную ванную комнату, машинально возюкает триммером по щекам, умывается, чистит зубы солёной пастой "Поморин", завалявшейся неизвестно с какого года, но почему-то не пришедшей в негодность; затем он варит овсянку, пьёт растворимый кофе, курит, смотрит в окно. Пейзаж, внутри которого он предаётся своему вынужденному безделью, неуловимо меняется день ото дня: в нём растёт какое-то напряжение, какое-то требование. И овраг, и замусоренная речонка, и небо, угрюмо белеющее сквозь чёрные ветки ракит, и осклизлые напластования палой листвы, и даже ветхая оконная рама, в чьей раскадровке его взгляду является окрестность, — всё ждёт от Ветляка какого-то действия, будь то слова, жеста или поступка, и Ветляк понятия не имеет, какого, но ощущает загривком, что действие это сопряжено с немалым усилием и недюжинным риском. Возможно, на Воле он нашёл бы подсказку или даже решение, но для этого нужно выдержать взгляд Вечного Пса, дать честный ответ на его самые безжалостные вопросы, и к такому испытанию Ветляк не готов. По ночам его тянет заглянуть в лаз за отклеившимися обоями; запах осенних трав и приближающихся снегопадов просачивается в комнату, холодит его скулы, заставляет его позвоночник звенеть, как покрытый изморозью еловый шест, — и ночь за ночью Ветляк заставляет себя отвернуться к стене и заснуть.

Погасив окурок в банке из-под оливок, он обувается, вытаскивает на лестничную площадку велосипед и идёт кататься по окраинам, — бесцельно, как в детстве.

* * *

Руль сворачивается набок, педаль норовит больно долбануть по ноге, — поднимать велосипед на третий этаж по тесной лестнице не очень удобно, но и в этом действе Ветляк находит что-то *правильное*, оздоравливающее его биоритмы, как и положено народным обрядам. Вернувшись в Июньск, Ветляк не без удивления обнаружил, что даже запах бабушкиного подъезда, — пыль, извёстка и застарелая краска, сдобренные ароматом жарящихся котлет из-за соседской двери и оттенённые едким душком человеческой и кошачьей мочи, — вызывает в нём самые тёплые чувства. В новостройке в Гатчине было не так. Там владычили запахи шпаклёвок, штукатурок, герметиков, эмалей, монтажных пен, всего ассортимента торговых залов “Сатурна” и “Максидома”, и к их солидному урбанистическому парфюму примешивалось что-то местное, торфянистое и морское, врывавшееся в открытые окна лестничной клетки и хлопавшее, как парус рыбацкой шхуны, на каждом этаже. Этой слишком скандинавской, слишком нордической ветреной сырости Ветляк так и не смог полюбить.

Телефон начинает вибрировать во внутреннем кармане куртки, когда Ветляк вставляет ключ в замочную скважину обитой дерматином двери. Свой новый номер он сообщил только матери, и раз в несколько дней — всегда в самый неподходящий момент — мать звонила ему, рассказывала о погоде, жаловалась, сплетничала, сетовала, просила съездить на кладбище (“прибраться у бабушки с дедушкой на могилке”), навестить почтальоншу тётю Наину (“привет передать, если она ещё жива"), прислать каких-нибудь фотографий (“хоть взглянуть, как там всё изменилось”). Ни одной просьбы Ветляк так и не выполнил. Мысль о кладбище, утыканном свежими лакированными крестами и государственными флагами, повергала его в ступор; нанесение внезапного визита тёте Наине, которой уже должно было стукнуть лет восемьдесят, казалось ему неуместным; слать фотографии он опасался, поскольку не помнил, разлогинился ли из своей почты на рабочем компьютере.

В очередной раз мельком подумав, что в дерматиновой обивке есть определённая прелесть, Ветляк отпирает дверь, заводит велосипед в микроскопическую прихожую, сковыривает с ног кроссовки, извлекает наконец из кармана жужжащий мобильник, нажимает зелёную кнопку и произносит стандартное "Да, мам", не меняющееся уже лет двадцать.

— Андрей, к нам приходили из военкомата, — объявляет голос матери, и по характерному напряжению Ветляк понимает, что сейчас, согласно сценарию, ему лет пятнадцать-шестнадцать и он неизгладимо, ужасающе виноват.

— Ну ты же им ничего не сказала?

Несколько секунд динамик молчит. Потом начинает клацать и взвизгивать:

— Андрей, прекрати нами манипулировать! Почему я вечно должна врать? Я сказала, где ты находишься! Андрей, за свои поступки надо уметь отвечать! У меня больное сердце!

У Вячеслава Сергеевича в прошлом году был микроинсульт! Почему мы обязаны во всём тебя покрывать? Почему все мужчины как мужчины, а ты...

Ветляк отодвигает мобильник от уха, похолодевшим и влажным от пота большим пальцем правой руки нажимает на кнопку завершения вызова. Кокон лопнул раньше, чем куколка успела превратиться во взрослое насекомое. Теперь ему, — недоделанному, беспомощному, едва шевелящемуся, — предстоит выживать без укрытия; вот и разбилась вдребезги капсула времени, полная тусклых перестроечных снов; вот и оборвалась на середине первой серии киноэпопея о человеке-невидимке, прозрачно-сером на серо-прозрачном фоне родной пустоты. Ветляк выглядывает во все окна по очереди, гасит свет, выключает смартфон, запирает замок на три оборота, берёт банку-пепельницу, ложится, не раздеваясь, в свой саркофаг, закуривает и долго не может решить, как воздействует дым сигареты на затхлый запах белья — нарушает его загробную гармонию или дополняет её.

* * *

Ни разу за всю сознательную жизнь Ветляку не приходилось задумываться о своём месте и предназначении в многослойной реальности. Он хорошо понимал, что лишь исчезающе малый процент людей умеет осознанно выходить на Волю; понимал он и то, что с большинством о Воле лучше даже не заговаривать. Большинство всегда выбирает путь наименьшего знания, наименьшей открытости; в ограниченности большинства есть свой уют, чья притягательность не нуждается в пояснениях. Но коль скоро ему самому дано видеть чуть больше, ступать чуть дальше по тайным тропкам материи, — это тоже не более чем природное свойство, не требующее анализа или рефлексии. Если он сумасшедший, это нормально; если же нет, если мир на самом деле похож на капустный кочан, состоящий из десятков листьев, подобных друг другу, но всё-таки разных, — значит, нормально и это. И, конечно, чем ближе к кочерыжке, тем сложнее отделить один лист от другого.

Странствуй и помалкивай, проходи сквозь Ворота, следуй за Вечным Псом. Пусть тебе являются Старшие — в облике вещих деревьев, говорящих птиц или сущностей, которые в *нормальном мире* называются фантастическими. Есть золотисто-прозрачные летучие змеи, живущие на опушках лесов, и есть крохотные, ростом с таксу, старушки, обустроившие свои квартиры в заброшенных норах. Есть чумазые пацанята с копытцами на ногах, носящие на шее ожерелья из гаек и фарфоровых изоляционных роликов: они облюбовали места, откуда *нормальный мир* отступил, как море во время отлива, оставив руины и хлам, врастающий в землю. Мало-помалу там возникают Ворота, а чумазые полубоги тусят возле них, как в своё время тусили юные панки у подземного перехода на Невском проспекте. Они бывают довольно общительными, если не смотреть на них свысока. Есть и другие создания — те, кого человек называет эльфами, кикиморами, великанами и так далее, не зная их истинных самоназваний и не вдаваясь в их сложные нравы. Что взять с человека! Он и своих ближайших родичей, обезьян, до сих пор считает примитивными и неразумными; более того — даже собственный вид он разделил на

высших и низших и постоянно находит, кому отказать в понимании. Ещё недавно белые люди объявляли чёрных людей расой дикарей и болванов; в последние годы способы выискивать объекты для унижения стали хитрее и изощрённее, но лейтмотив не меняется: человеку нужно кого-то презирать и топтать. Человек невежествен, высокомерен, жесток, и было бы странно, если бы он проявил уважение к обитателям тайных слоёв, — он, который не может достигнуть согласия со своими собратьями. Ветляк привык жить, принимая этот порядок вещей, не сопротивляясь ему, но стараясь избегать слишком тесного сближения с ним. *Нормальный мир* болен, — похоже, что неизлечимо, — и загажен, как речка в овраге; зато в нём есть много Ворот, много способов выскользнуть. Есть Воля, а на Воле есть много прекрасного, даже такие чудеса, как Мшаные земли, хоть их и нельзя посещать слишком часто.

О Мшаных землях Ветляк узнал от Виктора на второй год их общения, когда тот начал делиться с Ветляком своими открытиями. Чтобы попасть во Мшаные земли, говорил Виктор, нужно пройти сквозь Ворота, ухватившись за самую подземную и самую тёплую память своих корней, какими бы спутанными или оборванными они ни казались. Нужно благословить своих предков, известных и безымянных, и увидеть, как течёт по лимфатическим сосудам вселенной непрестанная забота усопших, становясь соком растений, мёдом и грунтовыми водами. С последним у Ветляка не возникло проблем, — он всегда подсознательно чувствовал повсеместное присутствие мёртвых, — но наладить взаимоотношения с предками оказалось непросто. Отца, "папу Стёпу", Ветляк не видел даже на фотографиях. Отчима, которого мать называла Славиком при гостях и Вячеславом Сергеевичем при сыне, он не смог бы причислить даже к знакомым. От самой матери у Ветляка не осталось ни единого младенческого воспоминания; когда он подрос и мать начала участвовать в его воспитании, ему поначалу было сложно поверить, что эта тётенька когда-то его родила.

Кроме деда и бабушки, в ландшафтах его раннего возраста не было взрослых, хотя сам Ветляк своих стариков ко взрослым не относил. Переступившие рубеж того возраста, где заканчиваются дела и начинаются сказания, они были фигурами иного порядка. Оба помнили Великую Отечественную войну (а дед захватил и кусочек гражданской), юность обоих состояла из катастроф и испытаний. Дед, белорус, ушёл добровольцем на фронт в июле сорок первого и только поэтому не разделил участи своих близких и односельчан, сожжённых немцами вместе с деревней; бабушка, сибирячка, тринадцатилетней девчонкой работала на военном заводе. Оба считали себя коммунистами, но верили в бога. Бабушкин бог был невнятным, деятельным и вездесущим, как огромный космический домовой; дедов бог дал людям чёткий армейский устав и больше в их судьбы не вмешивался. На досуге дед жадно читал журналы и книги, бабушка же смотрела по телевизору все передачи подряд, и особенно увлечённо — спортивные соревнования: и борьбу, и хоккей, и гимнастику. Иными словами, они были взрослее всех взрослых, занятых тем, как "подняться", "разжиться", "прикупить", "подхалтурить"; старость соскребла с них социальную накипь и обнажила узоры, прочерченные штихелем мифа. Помимо них, других предков у Ветляка не было, и он терзался стыдом, размышляя над Викторовой задачей. Потребовалось время, чтобы понять: достаточно было бы одной кружки бабушкиного компота, чтобы память предков пропитала его до костного мозга.

Осознав эту сложную, но нехитрую вещь, Ветляк смог наконец попасть во Мшаные земли. Там, куда распахнулись Ворота, была августовская ночь. Был долгий, но лёгкий путь вдоль берега широкой реки, и тропа была оторочена обильно цветущей неколючей травой. С реки наплывал туман, впереди плескалась стайка маленьких огоньков, и где-то недалеко, за лугом и перелеском, пролегала железная дорога: пару раз оттуда донёсся трубный голос проезжающего состава. Неизвестно, сколько километров прошёл Ветляк по тропе, но он не испытывал усталости, когда вышел к причалу. Лодки, укрытые брезентом, казались в потёмках диковинными люльками, мигали бакены, и отуманенная вода рассеянно причмокивала, лаская ветхие сваи. На берегу, в стороне, стоял деревянный дом, утопающий в тёмных лиственных облаках. У калитки сидел Вечный Пёс, весь серебряный от тумана. Ветляк подбежал к нему, наклонился, на секунду прижался лицом к мокрой от росы густой гриве. Они вошли в сад, под резной потолок яблоневых крон, и поднялись на веранду. Послышались скрип половиц, негромкие голоса и шаги, распахнулась дверь, и появились двое — коренастый старик в гимнастёрке и рыжеволосая девушка, накинувшая поверх платья огромную ажурную шаль. Взгляды у них были одинаковые, задумчивые и вместе с тем пронзительные, и в чертах лиц просматривалось трудно уловимое сходство. Девушка зажгла на веранде фонарь, старик принёс бутылку наливки, и начался разговор, содержания которого Ветляк так и не смог вспомнить, когда вернулся из странствия. Запомнилось ему одно: старик не задавал вопросов, только рассказывал, и его истории звучали как неторопливая музыка. Когда он замолчал, девушка взяла гитару и принялась тихонько импровизировать, словно продолжая повествование своего отца. Ветляк смотрел на дно рюмки, где поблёскивали остатки наливки, и видел, как растущий месяц в золотом переливчатом плащике совершает плавание от одной кромки леса до другой, на еловом чёрном плоту по сапфировым небесам. Вечный Пёс сидел поодаль, навострив уши, потом опустил голову на лапы и задремал. Ветляку постелили в комнате для гостей. Сквозь сон он слышал плеск реки и ощущал у себя на ресницах мерцание бакенов. Наутро старик заварил чай со смородиновым листом, а после завтрака все отправились на станцию проводить девушку: ей нужно было в город. Разглядывая поезд, Ветляк обратил внимание, что маршрут следования был указан на русском, но названия населённых пунктов ничего ему не говорили — что-то вроде “Фёдоровск-Южный — Лебеда”.

— Я б там пожил, — сказал Ветляк Виктору на следующий день, закончив делиться впечатлениями.

— Я бы тоже, но нельзя, — ответил Виктор и объяснил, что человек, задержавшийся во Мшаных землях, очень быстро, за считаные дни, утрачивает возможность вернуться: Ворота больше не пропускают его, знания о *нормальном мире* понемногу выветриваются, а друзья и родственники забывают об ушедшем, перестают интересоваться, куда он пропал, и вычёркивают его из книг повседневности.

— Так-то оно и хорошо бы, — рассуждал Виктор, — но это как улететь навсегда на другую планету. Представь: твоё прошлое тебе кажется сном. В здешнем слое ты ни на что больше не можешь влиять. Самый максимум — к тебе заглянет на огонёк какой-нибудь, ну, скажем, художник. Ты попьёшь с ним винца, поболтаешь, и он, может быть, когда-нибудь напишет картину. Но ты её даже не увидишь. Согласен ты на такое положение?

Ветляк представлял себе женщину, с которой встречался в то время, частную киностудию, куда недавно устроился на работу, Финский залив, Гатчинский парк, серенькие хрущёвки, Июньск, химзавод, поездку в Америку на фестиваль Burning Man, о которой он долго мечтал; представлял ларьки у метро, где продаются слепленные абы как из антисанитарии и жира, но такие вкусные пародии на хачапури; представлял, как хорошо зимним вечером заказать себе суши из "Токио-сити", заварить зелёного чая и включить какой-нибудь детективный нуар; представлял всё, за что любил или хотя бы мог полюбить искажённый и отравленный *нормальный мир* — и понимал, что нет, не согласен.

Теперь Ветляк согласен на многое. Он приподнимает пласт отклеившихся обоев, ныряет под него головой и плечами, стискивает рукоятки руля, весь сжимается, зажмуривается и втискивается в лаз вместе с велосипедом — самой наглядной и осязаемой частью родового наследства. Переднее колесо упирается в какой-то порожек, соскакивает с невысокой ступеньки. Ветляк задевает локтем что-то твёрдое и металлическое, открывает глаза, смотрит под ноги, смотрит по сторонам. Он выходит из искорёженного остова пассажирского автобуса, через проём задней двери. Шин нет, они сгорели дотла, и рама упирается в асфальт, усыпанный чёрными клочьями. Ветляк инстинктивно пятится в лаз, в ненадёжную пещерку квартиры, и замирает. Затылком он ощущает тёплую массу уже ставшего привычным спёртого воздуха, грудью — мёрзлый ветер незнакомого слоя пространства: явно не Мшаных земель. Из квартиры до его ноздрей долетает запах покойницких наволочек, разбавленный горечью табачного дыма, из створки Ворот — смрад горелой резины, горелого целлофана, холодной горелой земли. Граница между одним и другим проходит прямо через него, как если бы невидимая гильотина рассекла его тело на переднюю и заднюю половинки. Где-то впереди, за линией горизонта, скрытой нагромождениями построек, в которые Ветляк не решается вглядеться как следует, ворочается сдавленный гул. За спиной прорастает пискляво-стрекочущий звук, которого Ветляк не слышал уже лет пятнадцать: настырный и требовательный, как описавшийся ребёнок, голосок стационарного телефона, ярко-красного, с неудобными плоскими кнопками. На ослабевших, дрожащих ногах Ветляк делает шаг, выталкивает велосипед из автобуса, ступает на наждачную корку дорожного полотна.

4.

Место, в котором он оказался, ещё недавно было улицей наподобие тех, чьей неровно расчерченной сеткой образован частный сектор Июньска: расползающихся по глинистым жёлтым грунтам, местами заасфальтированных, местами сплошь состоящих из луж и ребристых борозд, оставленных покрышками автомобилей. Но в Июньске разруха и запустение выглядели совершенно иначе. Там они были похожи на медленный полураспад организма, страдающего от тяжёлой и, вероятно, смертельной болезни, здесь же прошёлся смерч катастрофы. Ветляк замечает проломы в крышах домов, торчащие наружу обгоревшие балки, каркасы ворот и заборов, с которых взрывная волна содрала металлические листы, расшвыряв и измяв их, словно картонки. Оборванные провода

валяются на земле, как гигантские мёртвые черви. Все поверхности изрешечены десятками дыр, — от совсем мелких, в основном расположенных кучно, до огромных, зияющих. Ветляк ведёт велосипед, стараясь не наезжать на стеклянное крошево и острые железяки, прислушивается к рычанию далёкого грома и, борясь с нарастающим паническим ужасом, надеется обнаружить хоть что-нибудь, что напоминало бы если не Мшаные земли, то хотя бы обычную Волю: не всегда светлый и радостный, зачастую печальный, а порою и мрачный, но всё же *спокойный* ландшафт, не сулящий беды и отчаяния. Вместо этого он находит всё новые и новые увечья и раны: вот деревья с опалёнными ветками, вот кирпичный сарай с обрушившейся боковой стеной, сквозь пробоину виден стеллаж, где когда-то стояли ящики с инструментами или трёхлитровые банки солений. Оконные рамы оторваны и надсадно скрипят под порывами ветра. Ветляка начинает знобить, он поднимает воротник, прячет левую руку в карман и ведёт вихляющий велосипед одной правой. Среди белых, коричневых, серых ошмётков разнообразной материи, покрывающих землю, вдруг мелькает что-то яркое, алое. Ветляк наклоняется. С полувтоптанной в грязь задней части разодранной книжной обложки в глаза ему смотрит, прищурившись, рыжий котяра. Озноб переходит в неукротимую дрожь. Ветляк вытаскивает сигаретную пачку, с трудом открывает её, с минуту чиркает зажигалкой, всерьёз опасаясь, что потеряет сознание раньше, чем ему удастся закурить. Наконец, он всё же вдыхает губительно-спасительный дым, решается прикоснуться к обложке, вспомнить пальцами её текстуру. На недостающей её половине было написано “Українські народні казки”. У него была эта книжка, и лет в семь, читая её, он интуитивно понимал всё её содержание. Ветляку хочется выть, протяжно, по-вдовьи, над самим собой, очутившимся в западне, над котом, над мальчишкой или девчонкой, чья фантазия путешествовала по вырванным с мясом и, наверное, сгоревшим страницам, над этим городом или селом, надо всем обитаемым миром. Его взгляд мечется по разбомблённым домам, по асфальтовой взбухшей коросте, уходящей под синюшные тучи и теряющейся в неизвестности.

— Рэм! — кричит Ветляк одновременно визгливо и сипло. — Рэм!.. Рэм!..

Рэмом звали Вечного Пса, когда он ещё не был Вечным и прибился, немолодой и серьёзный кобель немецкой овчарки, к магазинчику в микрорайоне Речном. Восьмилетний Ветляк к тому времени давно уже грезил о собственной верной собаке. Всё лето он носил Рэму сосиски и бутерброды, смастерил ему ошейник из обрезка ремня, пытался учить его командам, в которых тот не испытывал ни малейшей нужды, и канючил, канючил, канючил, уламывая деда и бабушку взять Рэма домой. К концу августа дед дал слабину. Оставалось взять его за руку, отвести к магазину, и, повторяя “ну деда, смотри, какой он хороший”, пообещать учиться на все пятёрки. Так бы и вышло, но за день до того Ветляку, бежавшему за лимонадом и жвачками, преградил дорогу краснорожий Сергей Бирюков, отставной мичманюга, бухавший без продыха семь дней в неделю и учивший “быть мужиком” глистообразного бледного сына Данилу. Дыхнув в лицо Ветляку колбасой и сивухой, он сказал “Слышь, пиздюк, ты меня заебал со своим кобелём”. Ночью Рэм пропал, и двое суток Ветляк, задыхаясь и предчувствуя страшное, искал его по всем закуткам микрорайона Речного, — пока старшие пацаны не отвели его в сторону и не сказали, что “пидарас Бирюков” застрелил Рэма из охотничьего карабина. С неделю Ветляк ходил в оцепенении, ничего не ел, плохо спал, плакал холодными злыми слезами, — и то был

единственный раз, когда он проливал мужские, солдатские слёзы. Дед и бабушка долго вытягивали из него объяснения; когда Ветляк наконец рассказал о случившемся, дед набросил пиджак и отправился к Бирюкову на разговор. Вернулся он с серым лицом, сухо сплюнул в пространство и сказал: “Говно человек”. Бабушка утешала Ветляка как могла, но тот лишь сопел, отворачивался и снова плакал.

— Но ты же отомстил? — спросил Виктор, когда Ветляк рассказал ему эту историю.

— Ты прикалываешься? Что я, мелкий, мог сделать?

— Да что угодно, — настаивал Виктор. — В конце концов, ты мог назло этому чёрту спасти другую собаку.

Ветляк не спас другую собаку: напротив, с тех пор он начал избегать и собак, и котов, опасаясь, что с любым живым существом, к которому он прикипит душой, произойдёт что-то ужасное. Но Рэм вернулся к нему на Воле — хотя правильнее было называть его уже не Рэмом, а Вечным Псом. На Воле можно было валяться с ним в высокой, не знакомой с газонокосилкой траве, сидеть на речном берегу и общаться даже не мыслями — колебаниями подсознательной светотени. Можно было гулять с ним в одичавших садах, среди покрытых лишайниками старинных яблонь, или бродить по черничным коврам в сосновом бору. Тем страшнее было наблюдать за переменами, которыми Вечный Пёс отозвался на начало Событий: день ото дня он становился всё суровее, всё молчаливее, всё непостижимее, из лучшего друга превращался в божество, явившееся в мир, чтобы судить смертных по их деяниям. Теперь Вечный Пёс и вовсе оставил Ветляка одного.

* * *

Ещё не начинало смеркаться, но небо настолько пасмурно и задымлено, что все краски кажутся темнее, чем они есть. Белёные стволы обгоревших деревьев выглядят пепельными, серый бетон электроопор — почти чёрным. Ветляк бредёт вдоль руин, по-прежнему пеший, не решаясь взобраться в седло велосипеда. Ему страшно, нечеловечески страшно, и рогатка руля служит ему хоть каким-то, но братским плечом, хоть какой-то, но связью с привычной реальностью. Несколько раз он порывался помчаться обратно к автобусу, но телефонный звонок, донёсшийся из квартиры, пока что пугает его больше, чем простирающийся вокруг искалеченный мир. Здесь, быть может, ещё сохранились пригодные для жизни места. Если его сцапает военкомат, надежды на жизнь не останется. Ветляк старается не смотреть в мёртвые окна домов и не думать о том, почему, до сих не встретив ни одного человека, он с каждой минутой всё отчётливее ощущает на себе чей-то взгляд. Помимо разрухи, чей облик ужасен сам по себе, здесь есть ещё что-то, невидимое или скрывающееся до поры, но, похоже, наблюдающее за Ветляком неизвестно с какими намерениями. Наконец, есть и множество *сдвигов,* вызывающих у Ветляка предельно гнетущее чувство. Уже несколько раз ему попадались надписи, набрызганные краской-спреем на пробитые стены, и в каждой из них Ветляк отмечал наличие необъяснимых ошибок: “ДВЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКЙХ ЗАА ПРЕЩНО”, “ХУЬЙ”, “СЛАВВА РССЫИ”. Проходя мимо разрушенного продуктового магазинчика, он увидел, что чудом уцелевшую вывеску кто-то густо обмазал калом, уже успевшим высохнуть и закаменеть: нужно было не полениться подставить стремянку, машинально подумал Ветляк, чтобы создать это художество. В том же квартале он наткнулся на инсталляцию из кусков гнилого, разложившегося мяса, нанизанного на толстую проволоку вперемежку с

использованными презервативами. Эта гирлянда, растянутая на высоте полутора метра от земли, украшала каркас сгоревшей автобусной остановки. Ветляку вспоминаются картинки, сгенерированные искусственным интеллектом: на них полно жутковатых иррациональных деталей, искажённых надписей и семипалых рук, растущих из паха или из-под коленного сгиба. Но этот слой мира слишком материален, чтобы *сдвиги* можно было списать на сбой алгоритма, — если только фашизм не является сбоем алгоритмов сознания, блевотиной галлюцинирующего мозга, и тогда, разумеется, те существа, те Обглодки, что хозяйничали в этих местах, мало чем отличаются от бредящих роботов.

Привычка много созерцать и принимать увиденное как должное, давно ставшая Ветляку не второй и не первой, а нулевой, функционирующей по умолчанию, натурой, удерживает его мысли от соскальзывания в бездны, из которых он навряд ли смог бы выкарабкаться в здравом уме. Но невидимый наблюдатель, следящий за ним, заставляет его спину покрываться испариной, ледяной, как порывистый норд, то и дело секущий его по лицу. Как водитель, едущий через лес по ночному шоссе и почти засыпающий, видит в мелькании стволов силуэты растрёпанных ведьм и покрытых шерстью гигантов, так и зрение Ветляка начинает мало-помалу достраивать и без того зловещие пятна и тени до осмысленных, внятных фигур, которые могли бы дать ужасающее, но однозначное объяснение чувству, что он *не один*. Пусть то дерево, свесившее над обочиной сухие плети ветвей, окажется мёртвой старухой в окровавленном рубище, и пусть она двинется на Ветляка, намереваясь сдавить ему горло костистыми пальцами. Едва ли Ветляк сможет выдержать это зрелище: он бросится, в мокрых штанах, обратно к Воротам. Но, по крайней мере, ему станет ясно, кем населён этот слой. Ветляк шагает всё медленнее, опирается на велосипедный руль всё более обречённо. Надежда найти до сумерек какое-нибудь безопасное место, логово, где можно будет укрыться от страхов, заночевать и позволить мозгу потихонечку обработать события последних часов, неуклонно слабеет, исчезает, как пар над остывающим чаем. Приблизившись к одноэтажному дому, сохранившемуся чуть лучше других, — хотя бы дверь уцелела и стены не зияют пробоинами, — Ветляк осмеливается прислонить велосипед к столбу, войти в проём, некогда бывший воротами, пересечь узкий палисадник и потянуть дверь на себя. В помещении темно, но огонька зажигалки и вплывающего через дверь оловянного мрачного света достаточно, чтобы Ветляк опознал прихожую бабушкиной квартиры: тумбу, где стоял телефон, запылённый светильник, фальшивые оленьи рога, на отростках которых когда-то висели береты и шапки. Глядя под ноги, он опознаёт и другие, с детства знакомые, вещи: пальто и ветровки, галоши и кеды, свои лыжи, свои первые роликовые коньки. Но валяются они в таком беспорядке, как будто их пинали ногами и яростно швыряли о стены, и все они, понимает Ветляк спустя пару минут, покрыты серой слизистой плёнкой: той, которая образуется на поверхности тухлого мяса, той, которую он только что видел на жуткой гирлянде, повешенной на автобусной остановке. Эта слизь чуть заметно шевелится, еле слышимо чавкает, пожирая материю, а та, в свою очередь, беззвучно кричит всеми своими молекулами и смотрит на Ветляка миллиардами глаз, миллиардами своих электронов взывает о мести. Голенища женских сапог, зонтики с вывихнутыми спицами, исцарапанный древний линолеум, деревянная полка для обуви, выкрашенная красновато-коричневой краской, — все предметы, все вещества ещё пытаются сопротивляться разъедающей их биоплёнке нечистоты, корчатся, вопят и визжат. Каждый дом, каждый

подвал в этом городе набит под завязку такой же вопящей материей. Ветляк выбегает на улицу, давясь нечленораздельным мычанием, и слышит знакомый настойчивый лай.

* * *

Лай, который может принадлежать только Вечному Псу, доносится издалека, откуда-то из чёрно-серых глубин перспективы, где топорщатся ветви сожжённых деревьев и железный сухостой лишившихся обшивки оград. Ветляк вскакивает в седло велосипеда, и, уже не задумываясь ни о битом стекле, ни о разбросанных там и сям обрывках колючей проволоки, что есть мочи жмёт на педали. Разгромленные дома мелькают по обе стороны, сливаясь в две абразивные ленты, обдирающие его зрение, заставляющие его разум кровоточить. Велосипед трясётся на ухабах, на военном мусоре, колесо то и дело норовит пойти юзом, трансмиссия дребезжит. Вцепившись в руль, Ветляк приказывает себе не тормозить, ни на чём не задерживать взгляд, не обращать внимания на судороги в мышцах ног. Минут через двадцать частный сектор сменяется какими-то производственными сооружениями, тоже разрушенными и мёртвыми, но не настолько гнетущими. Мусора становится меньше, и растительность выглядит более здоровой, не опалённой артиллерийским огнём. Теперь окружающий ландшафт кажется Ветляку знакомым, даже родным, и орудийного грома, всё время ворочавшегося в отдалении, больше не слышно.

Ветляк сбавляет скорость, затем и вовсе спешивается, кладёт велосипед на обочину, спазмированными холодными пальцами потирает виски. По левую руку от него возвышается серый бетонный забор, а по правую, за бурьяном, кустарниками, кирпичом, — разрушенный корпус заброшенного химзавода. Запах жжёной резины рассеялся, с Жёлтой реки тянет илом и надвигающимся дождём. Ветляк ещё раз осматривается, ищет глазами какую-нибудь надпись, находит накорябанное ножом на деревянной подпорке столба “Ленка сука”, несколько раз перечитывает, убеждаясь, что все буквы на месте, — и вдруг понимает, что по-прежнему слышит лай Вечного Пса, теперь уже звучащий совсем неподалёку: метрах в ста, может быть, или даже меньше того. Прислушавшись и повертев головой, Ветляк на всякий случай оттаскивает велосипед поглубже в бурьян, перешагивает через неглубокий заросший кювет, продирается через сухие репейники и идёт прямиком к заводскому корпусу. Вход в него заварили железными листами ещё в девяносто девятом, но заделать лазейки, как водится, не позаботились. Почти на автопилоте, вспоминая не разумом, а ступнями и голенями тысячу раз хоженную тропу, Ветляк огибает здание, отодвигает ветви изрядно вымахавшей ракиты и заходит в пролом, образовавшийся в южной стене после демонтажа какого-то обрудования и служивший мальчишкам парадным подъездом сколько он помнит себя. На дальнем плане его сознания колышутся, наложенные друг на друга, два образа: тайный лаз за обоями и разбитый снарядом сарай. Ветляк морщится, но голос Вечного Пса отвлекает его от навязчивой ассоциации.

Если бы Ветляк не знал, каким было изначальное предназначение здания, он навряд ли смог бы определить его сходу. Сквозь растрескавшийся пол проросли худосочные ольхи и рябинки. Исчезли остатки металла — они были срезаны, выдраны, вынесены и сданы на металлобазы. Никаких типичных примет химпроизводства здесь больше нет: время

слизало их, снивелировало облик завода с уровнем усреднённой руины, в которой при желании можно увидеть *любую* руину, возникшую в результате любого процесса, антропогенного или природного, плавного или стремительного, упадка или войны. Ветляк топчется возле пролома, ожидая, что Вечный Пёс, по своему обыкновению неожиданно, выйдет ему навстречу, но тот не спешит появиться, только лает, и лай его громок и нетерпелив. Раздаётся он из глубины помещения, из-за груд бетонного лома и выросших на них деревец. Вечный Пёс, понимает Ветляк, хочет что-то ему показать.

Опасливо, но всё-таки ностальгически Ветляк пересекает заброшенный цех. Нет больше ни скомканных комбинезонов, ни противогазов, похожих на мягкие черепа, ни заплесневелых папок, полных жёлтых листов со скучными машинописными перечнями. Несколько помятых плакатов ещё валяется в серой мучнистой пыли: “КАБЕЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”, “НАДЕВАЙ СПЕЦЗАЩИТУ”, “СОББЛДДАИ ТЕХНХКУ БЕЗОПАСИОСТИ”. В помещении темновато, и Ветляку приходится напрягать зрение. Темнота, кажется, понемногу сгущается, — или Ветляк приближается к источнику темноты.

Остолбенев от внезапного узнавания и парализующего ужаса, Ветляк вскидывает голову и видит перед собой чёрный вал комковатой бесформенной массы, липко-жирной, как дым концлагерных крематориев, и стылой, как ветер в разрушенном городке.

Чёрная масса не приближается и не отдаляется, но её комки непрестанно меняют очертания, вытягиваются в отростки, раздуваются в бугристые опухоли. В их движении есть какое-то отвратительное сладострастие, какая-то похоть: так мог бы ласкать свою жертву маньяк-каннибал. Оцепенело следя за их трансформациями, Ветляк различает всё то же самое, что различал в своих детских снах: Хиросиму, Треблинку, Бухенвальд, Бабий Яр, но теперь он может назвать поимённо и другие места и события, добавившие этой массе чёрной жижи и пепельных туч. Колыму, Камбоджу, Эрзурум, Сребреницу, Руанду, Вьетнам и ещё многое, что мелькает перед его внутренним взглядом чёрно-чёрной кинохроникой с напылением свинцовой золы, и ещё многое, от чего он так старательно отворачивался все эти годы, что нахваливала госпожа с геликом и каблуками, что ковалось в умах циничных фанатиков, лилось изо ртов бесноватых пропагандистов, финансировалось в кабинетах банкиров, тиражировалось слабоумными блогерами, замалчивалось осторожными толстосумами, вколачивалось народу в обычаи кулаками отмороженных Бирюковых и, в конце концов, удобрялось мясом Обглодков. Не имеющий научного определения лоскуток чего-то звёздного или цветочного, который был дан всем этим людям в качестве бессмертной души, изгнил, почернел и тоже стал частицей клубящейся массы; плоть без него превратилась в деградирующий силикон, ум — в заглючившую программу, выводящую на мониторы реальности терабайты уродства и бреда.

Но голос Вечного Пса не смолкает, и, уже совсем без надежды вперяя глаза в темноту, Ветляк вдруг замечает небольшую прореху, сквозь которую брезжит туманный перламутровый свет. Из неё и доносится лай. Не так уж он и непроницаем, этот чёрный экран, понимает Ветляк. За ним простирается мирное поле, присыпанное первым пушистым снежком, там лежат настоящие Мшаные земли, какими они были до начала Событий, — или, лучше сказать, какими они остаются на том своём уровне, которого не

исказят никакие события; там плещутся бакены на реке, осыпаются в траву лунно-жёлтые яблоки, подходят к станции поезда, уютно дряхлеют изгороди; там снова можно будет гулять с Вечным Псом по прозрачным ольшаникам, там рыжеволосая девушка в ажурной шали слушает, должно быть, песенки скачущих по веранде синиц. Она может стать женой Ветляка. Нужно лишь ринуться в чёрную лаву, взглянуть в тысячи выжженных взрывами глаз, тысячи обугленных лиц, и признать наконец, что человек вне Истории невозможен, и признать наконец, что История всегда состояла из ужаса и преодоления, и признать наконец, что молчание равно соучастию, — и, выбросив руку вперёд, как пластмассовый пехотинец, крикнуть в трупную, полную гноя и костного пепла глотку эпохи, что он никогда не станет союзником смерти. Тогда, понимает Ветляк, он прорвётся на ту сторону, где законы распада не властны над законами мифа, и получит прописку Мшаных земель, и он хотел бы, он очень хотел бы, если бы только не расплавил свою руку огоньком зажигалки, если бы не, если бы не… Ветляк делает робкий шажок вперёд и отскакивает, как ошпаренный, и выбегает из цеха, и, подворачивая ступни на бетонных обломках, мчится к дороге, к брошенному у обочины велосипеду, поднимает его за раму, взгромождается в седло, промахивается мимо педали, виляет рулём; наконец, насилу обретя равновесие, он устремляется по Краснознамённой в сторону проспекта Карла Маркса; будь что будет, плевать на эти шаманства, плевать на тайные слои бытия.

Отъехав на полторы-две сотни метров, Ветляк начинает судорожно, истерически хвататься за рациональные мысли и почти мгновенно делает вывод, что с самого прихода повестки он капитально глупил. Не нужно было скрываться от военкомата, не нужно было ехать в Июньск. Нужно было посовещаться с коллегами, нанять хорошего адвоката, написать в правозащитные организации и, пожалуй, обратиться за помощью к той влиятельной даме на десятисантиметровых каблуках. Нужно было вертеться, или, как сейчас говорят, искать способ хакнуть систему, а не разыгрывать кинематографические сценарии, залегая на дно — причём даже не в Брюгге, а на окраине микрорайона Речного. Ещё более недопустимыми были погружения в метафизику. В тяжёлые времена следует твёрдо стоять на ногах и держаться за здешний, общедоступный и общепризнанный слой мироздания. Глупость множилась, вырастала, как снежный ком, и загнала его в тупик, и подтолкнула к грани безумия, но ещё не поздно заземлиться и начать исправлять ошибки. Первым делом нужно добраться до бабушкиной квартиры, успокоиться и сделать пару звонков.

Поглощённый вытеснением увиденного и планированием дальнейших действий, Ветляк умудряется не придать значения жужжанию, набирающему силу где-то высоко в воздухе над его головой, надвигающемуся со стороны Жёлтой реки, и не успевает спрыгнуть с велосипеда, когда этот воздух, уплотнившийся и остекленевший, начинает лопаться с оглушительным треском, как если бы ватага пацанов, празднуя Новый год, взрывала десятки хлопушек. Ветляк тормозит слишком резко, ударяется гениталиями о поперечину рамы и, скрючившись, губошлёпит по-рыбьи, пытается крикнуть или вздохнуть. Исчезают стороны света, направления, ориентиры, мир возвращается в состояние первозданного хаоса; взрывы в небе и пульсация боли соединяются в один всесокрушающий ритм: это гремят барабаны войны, это сила, которую он не решился вызвать на бой, распевает свои заклинания, заставляющие звёзды чернеть; а ведь Обглодка зовут Максим, вспоминает Ветляк; разница между Максимом и Андреем не так велика, как хотелось бы: оба —

жалкий бессмысленный фарш, два обслюнявленных сгустка белковых соединений, без достоинства, без свободы, без доблести. Импульсы, мчащиеся сквозь мозг Ветляка, даже нельзя назвать мыслями: то не мысли, а очереди трассирующих пуль, потоки фотонов, сознание не поспевает за ними, пальцы всё ещё держатся за рукоятки руля. Боль слегка утихает; на тысячную долю секунды в душе Ветляка вспыхивает, как искра из-под алмазной фрезы, намерение развернуться, возвратиться в заброшенный цех и пройти сквозь чёрную стену, но рассудок и страх, сцепившиеся в одно визжащее целое, немедленно затаптывают его. Быстрее валить, быстрее валить, стучит в висках Ветляка, мало мне военкоматов и мистики, теперь здесь ещё и стреляют. Небо снова взрывается, плюётся рваным железом, и один из железных обломков раскалывает череп Ветляка на куски. Тем временем за бетонным забором вздуваются огненные шары.

* * *

Когда умирает человек, границы между слоями реальности ненадолго стираются. Поэтому нет смысла гадать, где происходит всё то, за чем мы сейчас наблюдаем, — на Воле или в повседневности, которую Андрей Ветляк почему-то окрестил “нормальным миром”. Мы видим велосипед, отброшенный взрывом в гущу бурьяна. Изолента отклеилась, и тот, кто найдёт его, прочитает надпись “Украина”, покрытую грязью и пеплом тайных и явных пространств. Мы видим, как над новым химзаводом поднимается гигантское облако дыма, как обугленными птицами кружат на его фоне чёрные обрывки какой-то материи, металла или кровельного рубероида, и как из горелого воздуха, протаранив в нём дыру своим телом, вырывается Вечный Пёс. В два прыжка он оказывается возле трупа Андрея, упирается своими могучими лапами ему в бок и начинает свирепо, по-волчьи, раздирать сначала его одежду, а затем плоть. Пасть Вечного Пса оскалена, нос наморщен, в карих глазах пляшет красное зарево; он мотает головой, отдирая и отшвыривая лоскутья уже бездушного мяса, с остервенением разгрызает хрящи, соединяющие рёбра с грудиной. Пусть нас не обманывает ужас этого зрелища. Люди с варварскими обычаями и смердящей совестью ненавидят собак именно потому, что подспудно распознают в них образ неотвратимо приближающейся кары, но мы не из таких и не станем отводить взгляд. Когда торс мертвеца превращается в месиво, расплёсканный борщ с осколками костей и шматьями жира, Вечный Пёс выгрызает наконец упругий мускульный мячик, Андреево сердце.

Мгновенно преобразившись, — строгий и благочестивый, — Вечный Пёс аккуратно облизывает его, мягко сжимает зубами и уходит с достоинством, не оборачиваясь на распластанные останки. Поначалу он бредёт шагом вдоль руин химзавода, потом ускоряется, рысит, сворачивает на грунтовку. В гниющем мире больше нет весов, которые не обвешивали бы, но есть воды Жёлтой реки. Через пару минут Вечный Пёс зайдёт в реку по грудь и разожмёт челюсти. Скорее всего, сердце утонет, но может быть, и останется на поверхности, как буёк, и покажется, что оно снова бьётся. Вечный Пёс бежит к берегу, целеустремлённый, серьёзный, его хвост изогнут плавной дугой, уши стоят торчком. Оставим его. Наш экран уже затягивает туманной сепией, пылью, паром, дымами, —

сквозь пелену виднеются пятиэтажки и деревянные домики с белыми оконными рамами, —

на детской площадке встали кучкой девчонки, —

неизвестно, будет ли хоть одна из них варить для внучонка компот и рассказывать ему старые сказки,

неизвестно, очистятся ли когда-нибудь от фосгена и люизита почвы Июньска.

Теперь нам стоит перенестись в немецкий город Фюрт и отправиться в парк, на берег зелёной реки, которая называется Пегниц; там, на одной из дорожек, мы увидим человека с татуированной бритой налысо головой, одетого в чёрные джинсы и короткое пальто цвета еловой хвои. Это Виктор. Его взгляд прикован к экрану смартфона: он читает сообщение о смерти Андрея. Понаблюдав за ним ровно столько, сколько уместно наблюдать за чужой потерей, — секунд десять, не более, — мы двинемся дальше. Можно было бы навестить соседний город, — крупный, старинный, прославленный, — но, к сожалению, там нас не ждёт ничего, кроме разочарований. Зато мы можем сместиться к западу и увидеть, как муаровой лентой переливается под дымчатым солнцем великий Рейн, можем перевалить через Альпы, можем пересечь океан, можем затеряться в Индии или в фавелах Сан-Паулу, можем полюбоваться извержением вулкана в Исландии. Где бы мы ни оказались, больше всего нам будет хотеться попасть во Мшаные земли, пусть даже всего на минуточку, и мы знаем, что нужно для этого сделать.

Roma, Novembre 2026